

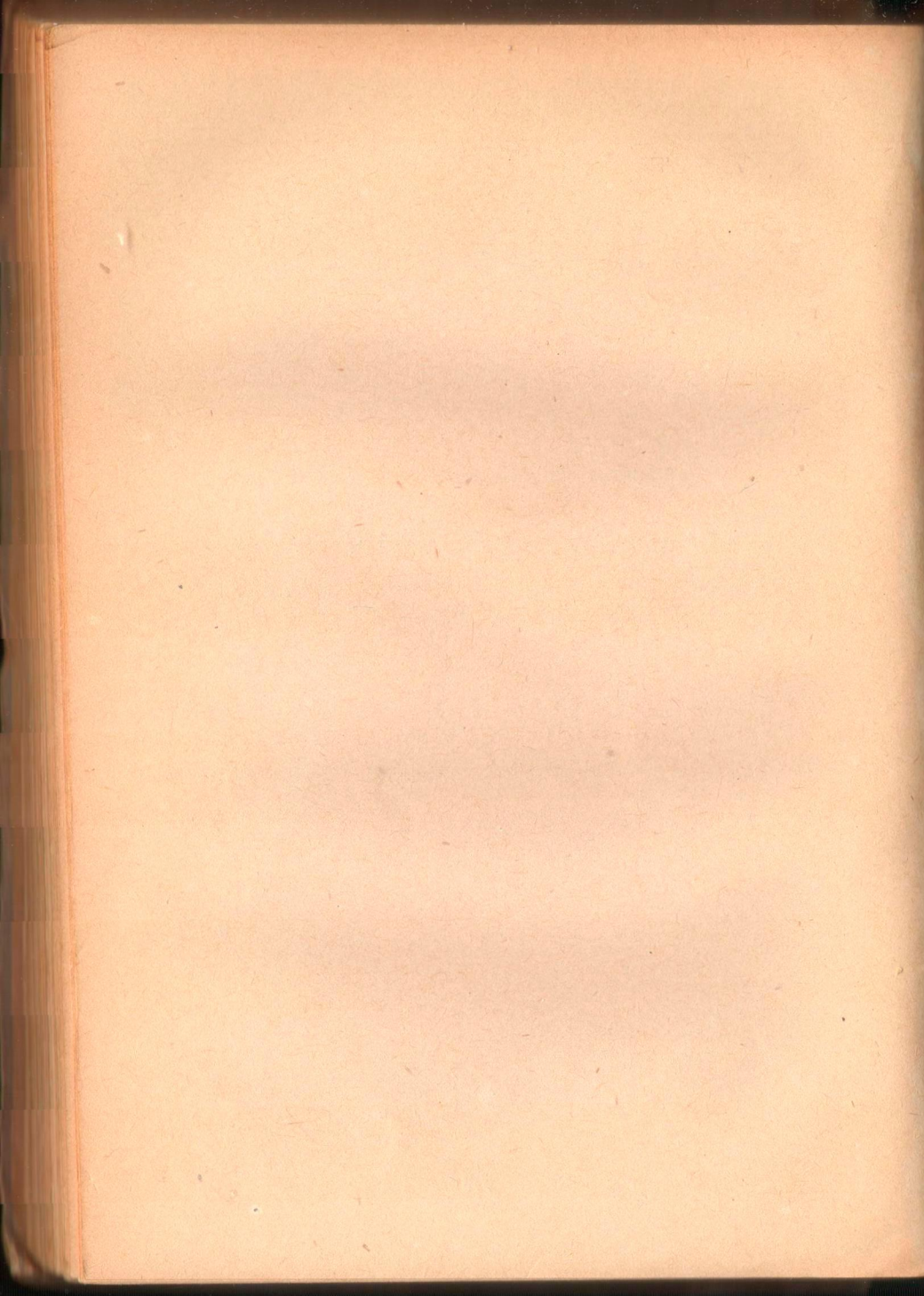
---

---

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

---

---





#### ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Гордон пролежал три недели в иерусалимской больнице. Лия приносила ему лимонные выжимки и проводила долгие дни у его постели. На третьей неделе его посетил Илья Шухман.

— Что с Сулейманом? — спросил Гордон.

— Пес удрал, — ответил Шухман. — Он взломал дверь в конюшню. Мы сообщили властям, но его до сих пор не удалось поймать.

— Висмонт в квуче? — спросил Гордон.

— Он еще не вернулся из Тивериады, — сказал Шухман. — Слава богу, все кончилось благополучно. Мы так боялись за твою жизнь. Доктор сказал: через пять дней ты сможешь вернуться домой.

— Я не поеду, — ответил Гордон.

— Как не поедешь! — вскричал Шухман. — Ты хочешь покинуть колонию? Ты дезертируешь?

— Да, Илья. Передай мой привет всем. Я решил поселиться в Тель-Авиве. Лия была у Аписа, и он обещал мне устроить там несколько уроков.

— Ты покидаешь колонию? — повторил Шухман. — Но так сторожа пустыни не поступают.

— Я — не сторож пустыни, — произнес Гордон.

Шухман встал.

— Прощай,— сказал он,— ты еще к нам вернешься. Мы тебя примем всегда за твой шрам на лбу.

Гордон слонялся в халате по больничному двору, читал русские книги. Лия принесла ему от Аписа два рекомендательных письма. Она рассказывала ему о Малке и о ребе Акиве. Гордон удивился.

— Ты ее знаешь?

— Она — моя подруга.

Он спросил со смехом:

— Как же проходит семейная жизнь моего ребе?

— Плохо.

— Почему?

— Малка ведет себя безобразно,— сказала Лия.

— Молодой мужчина?— спросил Гордон.

— Хуже: молодой араб.

— Постой!— произнес Гордон.— Как его зовут?

— Муса!

— Да, мне говорили. Он — сын феллаха Сулеймана.

— Не знаю,— ответила Лия,— но, кажется, он из Медре.

Гордон задумался. Когда-то эти имена ему ничего не говорили. Сын феллаха Сулеймана!

— Он офицер?— спросил Гордон.

— Да. Ты его знаешь?

— Нет,— ответил Гордон,— но я немного знаком с его отцом...

Он хотел показать шрам, но удержался. Лия встретила. Сейчас она ревновала Александра не только к датчанке, но и к Малке. Она успокаивала себя: ведь он с ней незнаком. Но почему он так о ней спрашивает? Он слышал о ее красоте. И Лия принялась ругать Малку.

— Ведь она — твоя подруга,— сказал Гордон.

— Разве в подруге нельзя видеть плохое? Любовь, говорила я Малке, надо подчинить рассудку. Изменить своему народу это еще более позорно, чем мужу.

Ее ревность усилилась.

Гордон запахивал полы халата: дули весенние ветры. Уже неслась по двору сухая пыль. На деревьях лопнули почки. Он выздоравливал.



На другой день после того как его выписали из больницы Гордон уехал в Яффу. Через несколько часов он высадился на Яффском вокзале и пошел пешком в Тель-Авив. Поклажа была легкая — маленький чемодан с двумя парами белья, красками и бритвенным прибором. Через полчаса он вошел в Тель-Авив. В Тель-Авив, в новую столицу нового государства...

— Мистер Броун,—попросил я,—вы там были, расскажите о Тель-Авиве.

— Что вы о нем знаете? — сказал мистер Броун.

— Очень мало. Я знаю о нем только то, что лет двадцать назад сионисты выстроили на пустом месте, на береговой полосе, в полутора километрах от Яффы, еврейскую гимназию. После декларации Бальфура здесь возник большой город, столица. В самом ли деле он так велик и красив?

— Вы хорошо знаете окрестности Одессы? — спросил Броун.

— Еще бы,—ответил я,—и Чубаевку, и Пересыпь, и Ярмарочную площадь, и Ладуновку, и Большой Фонтан, и Средний, и Малый, и Хаджибеевский лиман с Куяльницким, Аркадию, и Дофиновку...

— А вы бывали когда-нибудь в поселке Самопомощь?

Я вспомнил, что в детские годы мы часто туда ходили с Гордоном. Надо обогнуть Куликово поле, миновать Ботанический сад и выйти в степь. Слева — море, пожирающее берега, скудные холмы, разломанные скалы, красноватые оползни. Справа — степь, где растет подсолнух и запуталась в своих волосах кукуруза. Жара, соленый ветер. Мы проходим с Гордоном четыре километра, и в степи возникает нарядный городок. Лают собаки из-за чугунных ворот, цокает экипаж, иногда покажется высокий каретообразный автомобиль, стучатся в двери кухон молочницы. Я запомнил ряд зеленых улиц, главная называлась «Каштановой» — там росли каштановые деревья; если пойдешь туда осенью, так и ходишь по каштанам, и топчешь их, и расшвыриваешь вокруг себя. Здесь не



было ни одного доходного дома; в Самопомощи жили акционеры, управляющие банков, известные врачи, знаменитые адвокаты. В каждом доме — хозяин с семьей, дочка играет на рояли, на окнах — жалюзи, в кухнях — кафельные полы, много прислуги, в садах — шезлонги и мальчуганы в длинных костюмчиках играют в серсо и крокет.

Все дома были сложены из белого известнякового камня, в каждом доме — два или три этажа, черепичная крыша, мансарда в парижском вкусе. У чугунных ворот — медные таблички: Исай Павлович Купервассер, Иосиф Ильич Зак, Израиль Львович Хейфец, Абрам Яковлевич Штейнберг... Каждое утро прислуги натирали таблички мелом...

— Правильно, — сказал мистер Броун. — Когда же многие жители Самопомощи перебрались в Палестину, они построили там большую Самопомощь. Вообразите ряд широких улиц, укатанных гравием, посреди — электрические столбы, а по обеим сторонам — именно такие двухэтажные и трехэтажные дома. Есть улица Ахад-Гаама, улица генерала Алленби, есть бульвар Ротшильда. На бульваре Ротшильда — соломенные скамейки, пальмы, музыка. На морском берегу — большой пляж, много спортсменов, ресторан. Всюду звучит древне-еврейская и русская речь. Говорить на жаргоне неприлично и преступно. Конторы, магазины, мастерские. В Тель-Авиве нет ни одгой фабрики, — впрочем, в последние годы там появилась труба. Было много шума по поводу открытия кирпичного завода. А сколько медных табличек! Сколько адвокатов, врачей, преподавателей и дантистов! Они могли бы обслужить полумиллионный город, а в Тель-Авиве — около сорока тысяч жителей.

Гордон явился с рекомендательными письмами к двум тель-авивским купцам. Один торговал мануфактурой, другой содержал электромастерскую.

— Нет, — сказал один, — мой мальчик не любит рисовать. Вот если бы вы могли давать моей дочери уроки фортепианной игры...

А другой попросил зайти через месяц. Но на вто-



рой неделе Гордон нашел для себя два урока: адвокат Зильберберг предложил ему заниматься с его пятнадцатилетним сыном за обед.

— Обед у нас очень хороший, — сказал адвокат.

И в самом деле, хотя адвокат был очень беден, но обед в доме считался чем-то священным, и семья вот уже два года ухитрилась ежедневно варить бульон с клецками или уху, тушить мясо с картошкой и готовить сладкие компоты.

— Походите, — обещал адвокат, — я еще вам устрою урок за ночлег.

Так Гордон поселился у дантиста Березовского. Дантист снимал всего одну комнату. Здесь же стояла бормашинна и тазы с чужими плевками и гнилыми осколками зубов. По ночам бормашину отодвигали в угол, тазы выносили на кухню и раскладывали парусиновые кровати. В этой комнате спали все: и дантист, и мать дантиста, и его жена, и Гордон. Детей у них не было. Гордон давал уроки рисования самому дантисту. Он звал Березовскому его уроки не нужны, это какая-то скрытая милостыня. Желая ему угодить и как можно честнее заработать свой ночлег, Гордон рисовал для него плакаты с изображением здоровой и гнилой челюстей, писал для него вывески на древне-еврейском языке и маленькие красивые афишки, которые он расклеивал на электрических столбах.

Иногда дантист Березовский шутил:

— Мне уж нет выхода в жизни, господин Гордон: я женат... но на вашем месте я бы не стал тянуть такую неинтересную ляжку. Боже мой, разве у нас велись богатые отцы некрасивых дочерей? Женитесь!

— Господин доктор, — ответил Гордон, — ваш рецепт не подходит.

У него совсем не было друзей в Тель-Авиве. Дома знаменитых людей для него были закрыты. В свободные часы он уходил на пляж, лежал на солнце, купался. Часто хотелось зайти в ресторан, где плясали и слушали музыку, но не было денег. Однажды он решился.

— Что нам угодно? — спросил лакей.

— стакан молока, — ответил Гордон.



Тель-авивский лакей ничем не отличается от других лакеев мира. Он пожал плечами, проворчал себе что-то под нос, затем с недружелюбным шумом поставил стакан на стол.

Вокруг много ели, пили вино, громко говорили. Кроме древне-еврейской речи, здесь звучала русская, английская и румынская. На мужчинах были лиловые и серые костюмы, девушки носили короткие юбки, белые береты. Они были острижены, как мальчики, и совсем не похожи на сионских дочерей с длинными косами. Если бы не черные глаза и излишняя бледность в лице, их можно было принять за англичанок. Рядом с Гордоном сидела веселая компания: двое мужчин и две девушки. Они безобидно спорили, хотали.

Гордон пил свой стакан молока.

«Кто они? — думал он про соседей. — Дети Вейцмана или владельца модного конфекциона на улице Алленби?..»

Один из мужчин встал и подошел к Гордону.

— Прошу прощения, — сказал он и сел рядом. — Я долго следил за вами. Ваш стакан молока дал мне все понять. У вас нет денег, вы безработный. Так?

— Не совсем, — ответил Гордон.

— Я могу вам предложить работу, — сказал сосед. — Я представитель строительной организации «Солел-Боне». Нам нужны люди. Вы пойдете на черную работу?

Пока он говорил, Гордон разглядывал его с головы до ног. Компания молодого человека следила за ними.

— Три фунта в месяц и квартира, — сказал молодой человек. — Для крепкого мужчины эта работа совсем не тяжела... перевозка гравия.

Гордон продолжал его разглядывать. Молодой человек это заметил и смутился.

— Идет? — спросил он вставая.

— Нет, — ответил Гордон.

Молодой человек отошел. По походке его было видно: он возмущен.



— Беда с этими интеллигентами,— воскликнул он на весь ресторан:— предлагаешь им работу... зачем им работа? Они предпочитают просиживать штаны.

За соседним столом рассмеялись. Гордон уплатил за молоко и покинул ресторан.

Через некоторое время адвокат почувствовал, что обеду— сытному и постоянному— грозит катастрофа. Он забросил свое занятие, что-то распродал, где-то занял кое-какие деньги и вступил компаньоном в одно дело, как выражался Зильберберг.

Господин Розенблатт был хозяином киоска прохладительных напитков на бульваре Ротшильда. Он решил расширить дело и взял к себе в компаньоны бывшего адвоката Зильберберга. Обед был спасен. Адвокат стал разливать воды по колбам и сифонам, смешивать сиропы и готовить мазаграны, но домашний обед был спасен. А вскоре Зильберберг предложил Гордону поступить приказчиком в киоск. Гордон согласился.

Раннее утро. Гордон уже за прилавком. Он— в соломенной шляпе, в белом халате. Разливает воду, моет стаканы, разводит соду.

— Ай-ай,— качает головой дантист,— такой молодой человек!

Когда в киоске нет хозяев, Гордон отпускает ему бесплатно содовую воду. Дантист пьет три стакана под ряд.

— У нас в Тель-Авиве хорошо,— говорит он, добрея от выпитой воды:— я не помню ни одного погрома. Арабы сюда не имеют доступа.

В одно утро— хозяева были в киоске— Гордон заметил бегущего дантиста. Он держал в руках письмо, кричал.

— Какая весточка!— воскликнул он, остановившись у киоска.— Я бы хотел от жизни одного: чтоб я мог каждый день сообщать людям такие весточки...

— Что такое?— спросил Гордон волнуясь.

— Поцелуйте меня,— кричал дантист,— я вам принес счастье. Поцелуйте же меня!

Гордон поцеловал его в табачные губы и развернул



письмо, которое до него прочел дантист. Писал Иона Апис.

«Многоуважаемый,— было в письме,— я счастлив вам сообщить, что губернатор Сторрс познакомился с вашими миниатюрами, и они ему очень понравились. Ему показал их епископ Брассалина. Как они попали к нему, мне неизвестно. Генерал приказал вас разыскать и пригласить к нему на ужин в ближайшую субботу...»

— Я бы только не хотел,— кричал дантист,— чтобы вы возгордились. Ах, люди — такие звери! Не обижайтесь, Гордон.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Тишина.

— Сейчас я могу вам признаться,— сказал мистер Броун,— что когда ехал сюда, то много и беспокойно думал о туземцах Биробиджана. Вильям Гаррис удивлялся: какие, мол, туземцы? Край дик, необжит. Никто не сможет сказать, что евреи посягнули на чью-либо землю. Напротив, немногие казаки, корейцы и орочи рады появлению новожилов: с ними приходят дороги, свет, машины. И все же я позволил себе быть скептиком в большей мере, чем это требуется. Вы понимаете, страховка! Я искал возможные следы, возможные ростки будущих столкновений народов.

— Нашли? — спросил я.

— Нет,— ответил Броун,— ничего не нашел. Ни один человек не стоняется с своего участка. Казаки и корейцы — это не палестинские феллахи, арендующие у промотавшихся эффенди клочки земли. Наши евреи не покупают здесь свои владения, а осваивают первобытную тайгу. Вы видели, кстати, эту любопытную семью орочей?

— Семь девок? — спросил я.

— Да,— ответил Броун.— Мы встретили их на двадцать втором километре от Тихонькой. Семь скуластых девок, семь сестер — одна другой моложе. Родителей



они не помнят. «Где твоя живи?» — «Моя живи сопка». Они охотятся на белок, потом отправляются всей семьей в районный центр и обменивают в пушной конторе свои шкурки на консервы и сахар. Евреи придут к ним как друзья, как культурные соседи. Орочи переберутся из своих лесных палаток и шалашей на сопках в прочные деревянные дома. Робинсон говорил мне, что здесь практикуются смешанные колхозы из евреев и казаков, из евреев и корейцев. Их надо приветствовать.

— Вы такую смесь могли видеть в «Нейе Вельт», — сказал я.

— Видели, — ответил он. — Там евреи работают вместе с корейцами. Я wszed в нутро их взаимоотношений и не заметил там никакой язвочки. Наш Биробиджан молод и здоров. А наша Палестина больна, очень больна... Извините, что прервал вас. Мне очень интересно узнать, что стало с молодым художником.

...Через день Гордон выехал в Иерусалим. На вокзале он встретил дочь наборщика. Она собиралась в Яффу, но, увидев Гордона, повернула обратно и потащила к себе домой. В тот же вечер она снова приступила к нему со своей любовью.

— Нет, — ответил Гордон, — я тебя никогда не полюблю.

— Почему?

Она сжимала ему пальцы, пьяновато смотрела в глаза. Ему было противно ее пожатие, а взгляды ее угнетали своей униженностью.

— Разве я могу ответить: почему? — сказал он.

— Ты все еще любишь свою датчанку?

— Я никого не люблю, — ответил он.

— Но ведь она еще свободна, — произнесла дочь наборщика. — Мне говорили, что она до сих пор не вышла замуж.

Она ловила тени в его глазах, дрожание ресниц. Она мучила его своим пристрастным допросом.

— Я не за тем приехал в Иерусалим, — злобно ответил он и стал пить молоко большими, сердитыми глотками.



На другой день она повела его к своей подруге. У некрасивых девушек часто бывают подруги красавицы. Дочь наборщика дружила с юной Малкой, женой ребе Акивы. Гордон о ней много слышал, и ему было интересно посмотреть цветущую женку своего престарелого ребе. Малка приняла их в своей комнате, удивительно белой от сверкающих чистотой простынь, накидок, подушек и скатертей. По стенам были развешены ее белые платья и шарфы. В крохотные рамки были воткнуты бесчисленные портреты. Гордон узнал косой взгляд Бялика, черную бороду Черниховского, сухой взгляд Ахад-Гаама, низкорослого Жаботинского и кинематографических красавцев и красавиц: Рудольфо Валентино, Гайдарова, Полу Негри, Мэри Пикфорд, Грету Гарбо.

— Я тоже много о вас слышала,— сказала Малка.

Какая тонкая кожа на лице! Красавица Малка смотрела на него большими, полными блеска, глазами. Когда она говорила, то еле открывала губы. Гордон заметил: Малка прячет от него два темных и надломленных боковых зуба. Она все время возилась со своими длинными косами. Они лежали у нее на коленях, обильные и тугие.

— Вам нравится Габима?— спросила Малка.

— Очень,— ответил Гордон.— Все так хвалят этот театр.

— Я все прошу мужа, чтобы он отвез меня в Тель-Авив,— сказала Малка.— Как хорошо, что театр навсегда останется в Палестине! Вы пьете вино?

— Да.

— Я вам налью рюмочку кармеля,— предложила она. Передвигаясь по комнате, она шевелила бедрами.

«Кто ей посоветовал такую глупость?» — подумал Гордон. Он выпил две рюмочки, и тут пришел из другой комнаты ребе Акива. Заметив незнакомца, он побледнел.

— Добрый день, ребе Акива,— сказал Гордон.

Акива посмотрел на него злобным взглядом, который говорил: «Пес собачий, зачем ты лезешь в чужие дома? Ничтожество!»



— Вы не помните меня, ребе Акива? — спросил Гордон.

— Нет, — ответил Акива.

— Я учился у вас в хедере, в Одессе, на Костецкой улице.

— Не помню.

Гордон понял: ребе Акиве ненавистно всякое напоминание о его прошлой жизни. Пока Акива сидел за столом, разговор шел вяло и осторожно. Старец пил вино, смотрел в зеркало. Чтобы заполнить неловкую пустоту, Гордон стал читать стихи Бялика:

...Между Тигром и Ефратом,  
на пригорке на горбатом,  
вся в сияньи утопая,  
княжит пава золотая...

«Что такое стихи? — говорил взгляд Акивы. — Тлен, легкомыслие, женские забавы».

И еще говорил его взгляд:

«Зачем ты замираешь, наглец? Ты ее соблазняешь своим пением. Иор! Воругал!»

Акива смотрел в окно и, когда мимо проходил стройный араб в бурнусе, отплевывался.

— Зачем ты плюешься, мой муж? — спрашивала Малка.

— Арабы — собаки! — восклицал Акива.

Он посидел с ними еще несколько минут, затем вымыл руки и пошел к Стене Плача.

Гордон заметил, что, как только Акива удалился, Малка встала и подошла к окну. Из-за угла показался высокий араб в английском френче и сапогах. Поверх френча был наброшен бурнус. Он поймал взгляд Малки и прошел в дом.

— Я не останусь здесь ни на одну минуту, — сказала дочь наборщика, — я не желаю разговаривать с нашим врагом.

— Какой же он враг, если я с ним дружу? — спросила Малка. — Останься, я прошу тебя.

— Я не останусь здесь ни на одну минуту, — повторила дочь наборщика.



Малка взяла за руку Гордона.

— А вы?

— Я останусь,— сказал Гордон.

— Хорошо,— воскликнула дочь наборщика,— я останусь, но только на пять минут, не больше.

Когда Малка вышла навстречу арабу, дочь наборщика шепнула Гордону:

— Она позорит себя дружбой с арабом. Кто же ей поверит, что это — только дружба?

— Муса,— сказал араб, знакомясь с Гордоном.

Дочь наборщика он, видно, знал и раньше. Он кивнул ей головой, оглянулся и сбросил с себя бурнус. Бурнус лег у ног Малки.

— Я вам налью вина,— предложил Гордон.

Он был смущен, так как еще ни разу так близко не сталкивался с просвещенным арабом.

— Вы забыли, что Муса — мусульманин,— сказала дочь наборщика.

Муса посмотрел на нее недружелюбно.

— Я из тех мусульман,— произнес он,— что пьют вино. Точно так же, как господин Гордон, видимо, принадлежит к тем евреям, которые едят свинину.

Гордон засмеялся.

— Ем, ем,— ответил он.

Малка всплеснула руками.

— Боже мой, что если бы мой муж слышал наши слова!

Однако она была довольна. Малка боялась: все будут стесняться, молчать, поглядывать друг на друга.

— Вы приехали из России?— спросил Гордона Муса.

— Да.

— Давно?

— Три года.

— На свою родину?

В его голосе была насмешка, чуть уловимая.

— Перестаньте! — воскликнула Малка. — Сейчас начнется сражение.

— Да, на свою родину,— раздраженно произнесла дочь наборщика. — Вы отрицаете этот исторический факт?



Сухощавый, с впалым животом, Муса взялся за свои усы. Он вытянул длинные ноги.

— Нет,— сказал он,— не отрицаю. Но вы подумали о том, что за эти легендарные тысячи лет на этой земле кое-что происходило? Мне интересно: вас там, в России, господа сионисты осведомляли о том, что вы едете на землю, занятую чужим народом, и что придется сгонять бедных крестьян с их участков, которые они обрабатывали веками?

— Нет,— сознался Гордон.

— Возьмите бисквиты,— сказала Малка. Она не знала, можно ли успокоиться или же надо быть настороже.

— Мы никого не сгоняем,— гордо произнесла дочь наборщика.

— А Медре?

— Что в Медре? — спросил Гордон.

Он чувствовал, к своему удивлению, что этот араб ему приятен, между тем как дочь наборщика раздражала его своей надменностью.

— Сионистский банк,— ответил Муса,— снова собирается купить землю у Мустафа-эль-Хуссейна. Эффенди промотался, ушел в разврат, а в свое время я наступал под его командой на Дамаск. Он продает землю, на которой веками живут его соплеменники.

— Вините эффенди,— сказала дочь наборщика.

— Я знаю, что эффенди — мерзавец,— грустно произнес Муса,— но я бы на месте Сионистского банка не покупал у него владений; это разорит сотни феллахов.

— Да, это печально,— посочувствовал Гордон.

— О, вас очень легко убедить,— воскликнула дочь наборщика.— Видно, Ровоам Висмонт сделал уже свое поганое дело. Имейте в виду, господин Муса, что Сионистский банк совершает обычную покупку, вполне законную в любой из стран мира.

— Кроме одной,— сказал Гордон.

— Я удивляюсь,— воскликнула дочь наборщика,— почему до сих пор не вышлют Ровоама!

Гордон смотрел на Мусу взглядом внимательным и изучающим. Он понимал: перед ним сидит арабский националист, один из тех, кого обманул Лоуренс.



— Вы знали Лоуренса?— спросил Александр.

— Я был его шофером,— ответил Муса,— до того, как стал офицером.

— Вы офицер?

— Но я сын народа,— сказал Муса,— так же, как и вы. Мне говорила госпожа.

Он выпил вина только за тем, чтоб сделать паузу в разговоре. Отодвинув рюмку, он произнес:

— Мне рассказывала госпожа (он показал на дочь наборщика), что у себя в России вы разделяли идеи правящей власти. Почему же, заботясь об интересах русского бедняка, вы не хотели подумать о бедняке арабском?

Гордон улыбнулся.

— Позвольте,— сказал он,— господин Муса, спросить вас в свой черед: почему вы не хотите подумать о еврейском бедняке?

— Правда на нашей стороне,— воскликнула дочь наборщика,— политика евреев мирная, это арабы агрессивны.

— Но евреи проявляют агрессию тем, что приезжают сюда.

— Малка!— вмешалась дочь наборщика,— ты здесь хозяйка. Надо кончить такие разговоры. Очевидно,— сказала она усмехаясь,— надо создать по рецепту Висмонта единую еврейско-арабскую партию.

— Но это губительно для нашего движения,— произнес Муса.

— И для нашего,— сказал Гордон.

Эти слова он говорил не впервые: как только он чувствовал, что его отравляют идеи Висмонта, Гордон защищался твердой формулой о гибели движения. Но никогда он еще не вкладывал в свои слова так мало смысла, как сейчас. Враг предстал не хищным и надменным, а оскорбленным и грустным.

— Я тоже думаю, что должна прекратить такие разговоры,— сказала Малка.— Довольно. Мы здесь — добрые знакомые, а политики и без нас разберутся.

— Кто?— спросил Муса.— Губернатор Сторрс?



— Хватит! — крикнула Малка.

— Друзья, — сказал Гордон, — я завтра приглашен к губернатору Сторрсу на ужин.

— В Вильгельмовский дворец? — спросил Муса.

— Да. Но я приглашен к нему не как политик, а как художник. Через одну мою знакомую...

— Датчанку Бензен, — вмешалась дочь наборщика.

— Вы угадали. Через датчанку Бензен мои миниатюры попали к епископу Брассалине. Тот показал их губернатору, и генерал Сторрс пожелал видеть меня у себя.

— Вы делаете карьеру, — сказал Муса.

— Не беспокойтесь, господин Муса, — ответил Гордон: — меня в России научили никому не угождать.

Дочь наборщика улучила свободную минуту и шепнула Гордону:

— Нам надо уходить. Они хотят остаться вдвоем.

Гордон встал, прижал руку к сердцу.

— Мне пора домой. Предстоит работа.

— Я тоже спешу, — сказала дочь наборщика.

— Зачем? (Малка засуетилась.) Пойди одна, дорогая. Гордон еще побудет у нас, не правда ли?

— Пожалуйста, — произнесла дочь наборщика.

Гордон понял: коварство и зависть разъедают приятельские отношения дам.

Дочь наборщика выбежала на улицу. Видно было, сколько сил ей стоило не хлопнуть дверью. Гордон сел в недоумении на диван. Он достал безвкусный альбом с рисунками Лилиенблюма, жалкими древнееврейскими мадригалами и бесконечными цитатами из Песни Песней. Он перелистывал альбом, и перед ним мелькали худые юноши в полотняных шляпах. Они мотыжили землю, скакали верхом, танцевали. За ними шла серия кинематографических звезд. Первое место занимал среди них Рудольфо Валентино. Как терпел этого сладкого и обаятельного итальянца ребе Акива? Как выносил он, этот ученый талмудист, жалкие мадригалы, плохо зарифмованные и лишенные той отличной поэзии, к которой он привык, хотя и считал ее долгие годы абстрактной.



Малка стала прощаться с Мусой. Она поцеловала его на глазах у Гордона и сказала:

— Идите, Муса. Мы увидимся.

Когда Муса ушел, Малка приблизилась к Гордону и сказала:

— Я вас хочу попросить о необычном. Мой муж ревнует меня к Мусе. Да, я его люблю. Но я хотела бы, чтобы он ревновал меня к вам.

— Зачем?

— Я хотела бы,— продолжала Малка,— чтобы он ревновал меня к вам, с которым у меня ничего нет и никогда в жизни не будет. Согласитесь, дорогой Гордон, согласитесь... я сделаю так... ну, как-нибудь проговорюсь... мой муж станет думать, что я вас люблю... он будет знать, к кому ревновать, а то он мучается, не зная, к кому ревновать.

— Вы заботитесь о ребенке Акиве?

Гордон смотрел на эту маленькую женщину с телом агнца и с рассудком Лилит. Ему открывались все новые черты ее необузданного характера.

— Напишите мне что-нибудь любовное в альбом. Я вам сознаю: это я попросила подругу привести вас.

Она протянула руку к альбому, но Гордон отстранил пузатый фолиант в кожаном переплете.

— Нет,— сказал он,— я этого не сделаю.

Она умоляла его глазами, складывая руки, как жертва.

— Но вы согласитесь, чтобы я пустила о вас такой слух...

— Что я ваш любовник?

Гордон засмеялся.

— Да,— ответила Малка.

— Вы заботитесь о ребенке Акиве? — спросил он.

— Я забочусь о судьбе Мусы,— сказала она.

Играя косой, она сообщила ему о своих тревогах. Она боялась, что рано или поздно старец узнает, к кому ревновать, а для Мусы это опасно. Ее муж чувствует по ее глазам, по ее походке, по ее супружескому поведению, что она любит другого. Он терзает ее, он бьет ее по ночам. Когда же Акива узнает, что это — Муса,



он может ему навредить. Муса публично оскорблял Лоренса, ему запрещен въезд в Иерусалим. Она хочет отвести подозрения мужа от Мусы. Старец однажды видел ее с ним и где-то о нем выпытал.

— Вы согласны?—спросила Малка.

— Хорошо,—ответил он.

Возвращаясь домой, Гордон сперва думал о ней и о странном своем положении любовника не принадлежащей ему женщины, но потом мысли его занял разговор с Мусой. Он вспомнил дни, когда был сторожем пустыни, и рану, полученную на посту. Он думал о феллах, сгоняемых с земли, и ему стало стыдно за...

— Сыро,—воскликнул мистер Броун,—утренняя роса!

Я потрогал плащ: он весь промок. Мы встали, прогулялись по сопке. Исчезли последние звезды, наступило утро.

— Скоро взойдет солнце,—сказал Броун.—Я давно мечтал встретить восход солнца в горах. Мы останемся?

Лес и долины выходили из тумана. С земли стал доноситься шум: пыхтел на дороге башенный экскаватор.

Броун сказал:

— Мы сейчас увидим с вами наш дикий Биробиджан. Там, за тем массивом,—Бирефильд...

Я всматривался в синие дали, но видел только здания станции, избы Тихонькой, рельсы, скот на выгоне и полосу Биры. Все прочее было закрыто лесом.

Броун показывал:

— Там гора Бомба... Она богата туфом. Там деревня Александровка... староверы... Амур... Вы видите Амур?

— Нет,—ответил я.—До него двести километров.

— Я тоже не вижу, но я догадываюсь,—сказал Броун.—А на Амуре—еврейский колхоз Амурзет... а на другом берегу—Манчжурия, Китай, крепость Лахасусу... О чем же думал еще ваш художник?

— Вы меня перебили,—ответил я,—и мне не удастся как следует вспомнить содержание его писем. Но скала убеждений дала трещину, как вы выражаетесь...



— Не я, а Гамбетта,— сказал Броун.— Но разве от того дня он не испытал разочарования?

— Велика разница, мистер Броун. Раньше Александр Гордон видел язвы только снаружи, теперь он заметил их и изнутри. Язвы снаружи — английская политика, провозгласившая декларацию Бальфура и вслед за ней ограничившая иммиграцию и разоружившая легионы Трумпельдора и Жаботинского. Если бы не коварство Англии, обещавшей одно и то же и евреям и арабам... Так думал Гордон раньше. Политика сионизма казалась ему безвинной, и Хаим Вейцман с Руттенбергом выглядели в его глазах героями, Прометеями, прикованными к скале английского парламента...

Броун засмеялся.

— Ого,— сказал он,— вы тоже заговорили, как Леон Гамбетта.

Я продолжал:

— Но тогда он почувствовал, что и в сионизме самом что-то неладно. Ему захотелось встретиться с непримиримым Ровоамом. Ему захотелось снова повторить их спор, снова выслушать Висмонта. Покинув дом Акивы, он поехал в Явне.

— Это — еврейский скот,— сказал Броун.

Я вздрогнул.

— Что? — спросил я недоумевая.

— Посмотрите вниз,— произнес Броун.— Вот открылась поскотина, евреи нашли дорогу в тайгу для своего скота. Я могу узнать его отсюда.

— Как?

— Чувствуется еще неопытный пастух. Скот разошелся во все стороны. Коровы еще не слушаются своих хозяев так, как привыкли подчиняться своим владельцам казачьи коровы.

— Но Гордон не нашел Висмонта,— продолжал я.— Он постучался в общежитие квуцы и увидел Илью Шухмана...

— Ребята! — вскрикнул Шухман,— к нам вернулся наш художник. Как твоё здоровье? Как тебе живётся в нашей столице?

— Висмонт дома,— спросил Гордон,— или на работе?



— Нет,—ответил Шухман,— ни дома, ни на работе. Зачем тебе Висмонт, Александр?

— Где же он? — спросил Гордон.

— Зачем тебе этот ограниченный и вредный человек? — ответил Шухман.— Для чего ты разыскиваешь этого предателя своей нации?

— Он уехал?

— Мы его исключили из квуцы,— сказал Шухман,— и я сам лично передал его дело тель-авивскому судье.

— За что, Илья?

— Вот так новости! — воскликнул Шухман.— Ты забыл Висмонта? Или ты его плохо знаешь? Он ходил к феллахам и говорил с ними о евреях, как об их врагах. Это — омерзительный человек. Он мне напоминает Хаима Грана. Помнишь этого одесского негодяя, которого по дешевке купил союз Михаила-архангела. За бутылку водки он доказывал ритуальные убийства.

— Чепуха,— сказал Гордон с отвращением.— Как тебе не стыдно сравнивать Висмонта с Хаимом Граном?

Шухман побледнел. Глаза его стали злыми, высокомерными.

— А как тебе,— возразил он,— не стыдно защищать этого еврея-погромщика, этого тупого мапса... Он травливает арабов на еврейский народ.

«На сионизм, а не на еврейский народ» — подумал Гордон, но не посмел этого сказать вслух.

Они расстались врагами.

Гордон вернулся в Иерусалим на другое утро. Он шел по бесплодным горам, показывающим миру свои рубцы и раны. Осыпались каменные тропы, дерн рос из под камней. Лежали в запустении брошенные каменоломни. Горы лежали в туманах, складка ложилась на складку, как волна — на волну. В каждый переход по горам Иудеи Гордона охватывало волнение. Он никак не привык еще к печальной красоте этой величественной горной неразберихи.

Утром он решил: «Я притворюсь больным, не пойду на ужин к генералу Сторрсу».

В полдень раздумал. Там, среди знатных гостей, он



встретит Анну Бензен. Как она удивится! Он, Гордон,— в губернаторском доме! Он поразит ее своим костюмом, своим галстуком, вниманием к нему генерала, своим успехом. Может быть, она предложит себя в жены? Но он ее отвергнет...

Он готовился весь день, проверяя упругость воротника и манжет, цвет галстука, складки на штанах и талию пиджака. Он топтался у зеркала и говорил себе, что в эти часы он смешон и противен.

«Неужели меня так волнует чувство мести. За что я мщу ей? За ее корысть, за пустое сердце?»

Однако думать о мести было приятно. Он вытащил свою новую миниатюру и положил ее на стол перед собой. На крохотной коробочке, величиной с яйцо, было изображено большое поле с множеством виноградных кустов, уползавших к реке. Вдали — стада, пастухи, каменный ступенчатый мост, обоз. Низкий забор, сложенный из камня, разделил большое поле на два участка. Кусты обвисали гроздьями, и среди кустов тут и там росли малорослые апельсиновые и лимонные деревья. На одном поле возился феллах, на другом — еврей. Иные детали были сделаны так искусно, что для их осмотра требовалась лупа.

Одеваясь, Гордон часто брал лупу, смотрел. Это была обычная в его манере жанровая сценка. Он знал: она удалась ему лучше, чем когда-либо. Миниатюра будет иметь успех. Она станет сильнейшим оружием его мести.

Мысль, которая потом круто повернула его жизнь, пришла ему в голову внезапно. Он забросил туалет и снова засел за миниатюру. Он просидел над ней весь остаток дня. Гордон ничего не изменил в ней, но вырезал в том углу, откуда ниспадали солнечные лучи, несколько слов. Он начертал их по-английски: «Два великих народа обрабатывают землю своей родины» — вот какие были слова...

— Солнце! — воскликнул Броун. — Мы дождались с вами восхода солнца. Нет, не надо рассказывать. Я хочу встретить восход солнца в полном молчании.



## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Мы быстро спускались вниз, я — тропинкой, мистер Броун — по склону горы.

— Идите сюда,— кричал он.

— Нет,— возражал я,— я не умею лазать по овечьи.

Он спустился раньше меня и ждал внизу. В станице Тихонькой — она еще тогда не называлась городом Биробиджаном — люди уже встали. Открылась канцелярия Робинсона. У заколоченной палатки Госторга стояло несколько охотников, нагруженных беличьими шкурами. Они ворчали.

— Агент-то наш спит,— сказал старичок из амурских казаков, возглавлявший группу орочей.

Мимо шли станичники, молодой еврей проезжал на тракторе, напротив остановился грузовик с картофелем.

— Человек,— кричали орочи,— консервы палатка есть? Сахар палатка есть?

— Вчера были,— отвечали прохожие.

— Конфета палатка есть? Макарона палатка есть? — добивались орочи.

Они раздумывали: стоит ли им ждать агента или лучше отвезти своих белок в Хабаровск.

— Агент-то наш спит,— сказал старичок. — Видно, женка у него молодая.

— Каждый спи своя женка,— произнес один из орочей и засмеялся.

— Непорядок,— возразил старичок: — если ты служащий человек, какая тут женка.

У палатки остановился китаец-сапожник.

— Здравствуй, китаёза,— крикнул старичок, — колodки не продашь? Какая тут женка,— повторил он, — знаешь, как у нас, в артиллерии, было? Наши жены — пушки заряжены, вот кто наши жены.

У старичка за его хлопотливую семидесятилетнюю жизнь было четыре жены и пропасть детей. Он и сейчас иногда останавливал какую-нибудь еврейскую де-пушку-трактористку или агронома и восклицал:



— Эй, Хайка! Глаза-то черные, черные! Замуж за меня не пойдешь?

— А венчаться где будем? — отвечала девушка. — В крематории?

Старик плевался, отходил.

— Товарись,— спросил китайца один из орочей,— консервы палатка есть? конфета есть? макарона есть?

— Китаёза,— пристал к сапожнику старичок,— ты зачем с нами войну затеял? Дорогу хочешь забрать? Хабаровск хочешь? Ты газету читал?

— Зачем мне твоя дорога,— обиделся китаец,— я — сапожник, здешний человек.

— А войну зачем затеял?

— Дурной человек,— сердито сказал китаец.

В это время показался агент. Он ел на ходу хлеб, спешил.

— Все есть,— произнес он, поздоровавшись с охотниками:— и консервы, и сахар, и макароны, и сапоги,— все есть.

Старичок продолжал приставать к китайцу.

— Ты думаешь, русский человек совсем ослаб? Голыми руками хочешь его взять?

— Дурной человек,— ответил китаец.

— Ты зачем пристаешь к нацмену? — сурово спросил агент.

— А войну-то они для чего с нами затеяли?

Агент посмотрел на него с сожалением.

— Ты меня прости,— сказал он,— но я тебе, дедушка, вот что должен сказать: хоть ты старик, а идиот. Голова седая, а понятие, как у младенца. Разве он с тобой войну затеял? Это китайские генералы затеяли и мандарины ихние.

— Умный человек,— весело произнес китаец.— Один человек живет умный, другой человек живет дурной...

Агент открыл лавку, стал принимать шкурки, развешивать товары.

— У вас каждый человек говорит как политик,— сказал мистер Броун, наблюдавший со мной сцену у палатки.— Алло, Канторович!

— Алло!



Он проскакал мимо. Техник Канторович спрятал в кармане конспект напутственной речи. Двадцать пять юношей кончили в Худинове трехмесячные плотничьи курсы. Сегодня — выпуск. Вечером они поедут в Амурсет. Там строят дома и амбары. Они посылают Робинсону телеграммы, тревожат: «Шлите скорей плотников».

На шоссе заработал экскаватор. Черпак, отдуваясь, вгрызался на полтора метра в землю. Человек в кабине включал и выключал мотор.

— Алло, Фейгельман!

— Алло! — ответил из кабины человек.

Мы остановились с Броуном у кузницы. Два пожилых еврея ковали шину на колесо. Один раздувал горн, другой ударял молотом по раскаленному кругу. Летели искры.

— Американцы, — сказал один кузнец другому. — Доброе утро, америкацы.

— Доброе утро.

— Раз вы американцы, — произнес раздувавший горн, — значит, вы окончили гимназию? Правильно я говорю?

— Правильно.

— Раз вы кончили гимназию, — продолжал кузнец, — то скажите мне, что мы здесь куем?

— Шину.

— Американец, — снова спросил тот, что раздувал горн, — у вас большая семья?

— Жена и ребенок.

— А у меня десять ртов. И большая квартира, смею вас спросить?

— Десять комнат.

— А у меня две, и в одной еще нет стекол. Но я скажу, что не завидую вам. А почему?

Мы молчали.

— А потому, что я здесь кую свое еврейское счастье. Правильно?

— Правильно.

— А скажите, — продолжал кузнец, — у вас много денег в банке, на текущем счету?



— Я — небогатый, — ответил Броун.

— Все-таки?

— Ну, тысяча долларов.

— А у меня, — воскликнул кузнец, — дыра от бублика и копоть от свечки. Но скажу, что не завидую вам. А почему?

— Потому что вы куετε свое еврейское счастье, — быстро ответил мистер Броун.

— Правильно, — сказал кузнец.

Нам было весело глядеть на обоих кузнецов, и мы сели с Броуном вблизи кузницы, на груду белых мраморных плит. Мы знали, что мрамор — здешний: он добывается в Ландоко. Вернее, его можно добывать, так как никто его никогда не брал. Управление Уссурийской дороги как-то решило выстроить новое здание для станции Тихонькой. Железная дорога привезла несколько грузовиков белого с розовыми жилками мрамора и забыла о нем. Здание строили из дерева и фундамент клали кирпичный, а мрамор лежал, всеми забытый.

— Американец, — крикнули из кузницы, — вы знаете, на чем вы сидите? Вы сидите на нашем биробиджанском мраморе. У нас есть все. Хотите уголь — пожалуйста! Хотите железо — пожалуйста! Хотите розовый туф — пожалуйста! Хотите золото...

— Он преувеличивает, как всякий патриот, — сказал Мистер Броун.

Сидя на мраморных плитах, мы увидели следующую сцену. Пожилой еврей в местечковом одеянии подошел к станице. Он приехал сюда недавно. Это было видно по всему: и по его костюму и по его робкой походке. Он очутился у поскотины. Чтобы войти в село, ему надо было повернуть вертушку. Но в нее уперлась пегой мордой корова. Местечковый житель остановился. Он, видимо, боялся коровы и захотел отступить, но заметил нас и сразу сделал вид, что ему вовсе не нужно в село.

— Я же совсем забыл, — сказал он вслух, — мне же нужно на станцию.

Кроме нас, его робость заметил босой еврейский



мальчуган из парикмахерской. Он со смехом отогнал корову. Тогда местечковый житель произнес:

— Э, успею на станцию.

Затем он прошел в село.

— Плохой земледелец,— сказал, улыбаясь, мистер Броун,— но Робинсон мне уже показывал таких в Худинове. Они довольно быстро осваиваются с новым образом жизни. Наш кузнец тогда докучает свое счастье, когда последний житель последнего местечка перестанет бояться коров и лошадей, и земли, и гор, и рек, и вообще живой природы. По совести говоря,— произнес вдруг Броун,— мне очень хочется спать.

На станции стоял вагон. Здесь жила американская экспедиция, возглавляемая президентом университета в штате Юта Вильямом Гаррисом. Броун показал на вагон.

— Меня туда не пустят. Все спят. Мистер Гаррис не любит, когда его будят раньше времени. У нас еще есть полтора часа. Давайте, послушаем, что стало с нашим художником из Тель-Авива.

Было хорошо сидеть на мраморных плитах. Рядом с нами шумела Бира. Мычал и блеял скот. Шли евреи. Проносились еврейские всадники. Посматривая на нас, стучали кузнецы. Оглядываясь и здороваясь с прохожими, Броун слушал мой рассказ о Гордоне и о посещении им губернаторского дома.

На Масличной горе, там, где кончается скорбный путь — *Va Dolorosa*, ведущий от ворот св. Стефана мимо мечети Омара и множества греческих, русских и франко-итальянских храмов к гробу Христа, находится дворец-замок. Он принадлежал раньше императору Вильгельму Второму. Сейчас здесь проживает со своей свитой иерусалимский губернатор генерал Сторрс. Резиденция властителя святой земли охраняется индусами-сикхами.

У генерала Сторрса был званый вечер, на котором, среди других гостей, были известные всем трем палестинским областям лица: представитель папы епископ Брассалина лидер мусульманско-христианской партии и владелец нескольких миллионов дунумов земли



Муса-Казим-паша-эль-Хуссейн и управляющий из Палестинского банка Иона Апис. В числе гостей Гордон встретил много чиновников из миссий с их женами, актеров Яффского театра и офицеров из свиты губернатора.

Когда сажались за стол, он занял место рядом с Аписом. Тот не отпускал его от себя весь вечер. Он держал в левой руке миниатюру, сделанную Гордоном.

— Как только ужин подойдет к концу,— шепнул Гордону Апис,— мы приблизимся с вами к генералу. Я подарю ему миниатюру от вашего имени. Не говорите ничего: генерал все равно не поймет вашего ломаного языка. Было бы очень хорошо, если бы в то время, когда я буду преподносить миниатюру, вы стояли бы рядом, чуть склонив голову, а когда генерал начнет благодарить, приложили бы к сердцу правую руку...

— Не буду,— сказал вслух Гордон.

Апис испугался.

— Ну, не надо, не надо,— зашептал он, беспокойно оглядываясь,— художники всегда капризны... все будет хорошо... превосходно... Я вам налью вина.

— Спасибо,— ответил Гордон.

— Вы, конечно, любите кармель?

— Да.

— Я тоже.— весело болтал Апис.

Он был взволнован, чуть беспокоен. Идя сюда и сидя за столом, глотая вино и поедая фрукты, он все время думал о разговоре с губернатором. Иона Апис не ждал от разговора никаких выгод. Ему хотелось одного, чтобы в те минуты, когда он будет беседовать с генералом, на них устремились бы глаза всех гостей. Его тщеславие терпело урон от того, что хотя он не раз говорил с губернатором, но, так как все беседы были деловыми и происходили в канцелярии Сторрса, никто никогда не видел их беседующими.

Когда сажались за стол, Гордон заметил напротив, в пяти шагах от себя. Анну Бензен. Он не побледнел, не изумился, не покраснел и был этим очень доволен. И за одну короткую минуту, пока сошлись и разошлись



их глаза, он заметил, что Анна побледнела и изумилась. Он был доволен. Война была объявлена с наибольшим эффектом. Но тут кончилась правда, началась игра.

Мать сидела рядом с Анной. Толстый офицер устроился посередине. Он завладел рюмками и тарелками обеих дам, разливал, накладывал, все время подносил вазы, блюда, солонку. Дочь принимала услуги равнодушно, мать благодарила, рассыпала улыбки.

Гордон не заметил, какое на Анне платье. Кажется, белое. Но в глаза бросились оголенные плечи, много драгоценностей. Длинные серьги в ушах, зеленое, — видно, очень дорогое, — ожерелье, золотой браслет.

— Уже подают второе блюдо, — шепнул Апис.

«Эти вещицы пахнут больше, чем семь фунтов» — подумал Гордон.

Он хотел оглянуться, разглядеть ее получше, но игра продолжалась. Он углубился в еду.

Ужин близился к концу. Апис шепнул:

— Как только я встану, следуйте за мной.

Затем он поднялся, отодвинул стул, шагнул к генералу. Гордон пошел за ним.

— Господин генерал, — сказал Апис, — молодой художник счастлив, что вы похвалили его скромную работу. Он просил меня передать вам эту маленькую вещьцу...

Генерал улыбнулся Гордону. Он поздоровался с ним, не подав руки, но так, что в этом не было оскорбления.

— Я также счастлив, генерал... — продолжал Апис.

Губернатор взял из его рук миниатюру.

— Благодарю вас, — сказал он, — но вещь так искусна, что я в ней ничего не могу разглядеть. Принесите лупу.

Гости, следившие за генералом, видели, как тот преодолевает препятствие за препятствием.

— Превосходно, — сказал он, — я не в силах обозреть всего, что вмещает в себе этот наперсток. Вот я вижу поле... речку... виноградные кусты. Стада, пастухи, мост... отлично сделано.



Генерал встал.

— У вас большой талант,— произнес он и подал Гордону руку.— Я рад вас поздравить. Я поздравляю и вас, господин Апис, с таким воспитанником.

«Наврал» — подумал Гордон и пожал генеральскую руку.

Он заметил Анну. Она смотрела на него, не сводя глаз. Это были глаза бессильной ненависти. Гордон был доволен.

Сувенир пошел по рукам. Каждый находил особые прелести в резной коробочке. Женщины мгновенно переводили глаза с сувенира на художника. Гордон впервые — после детских лет — почувствовал себя предметом любования.

Сувенир перешел к епископу Брассалине. Вращая его, как кольцо, он изучал его со всех сторон. Все удивленно смотрели, как он ловит какие-то ускользающие от него тени и не находит.

— Мне хочется посмотреть, нет ли тут какого-либо секрета... — объяснил гостям епископ.

Он рассказал о том, как его друг, папский нунций, посетивший последнего русского императора, сообщил о прелестном подарке, полученном Николаем Вторым от одного старого южно-русского еврея. Подарок являл собой пшеничное зерно, на котором был полностью начертан гимн «боже, царя храни». Нунций заинтересовался этим евреем и узнал, что есть такие мастера миниатюры, которые ухитряются поместить на маленьком наперстке величественную библейскую картину.

— Особо заинтересовал меня,— рассказал мне папский нунций,— один седой и горбатый писец священных книг из Одессы. Он нарисовал на косточке сливы не один, а три библейских сюжета. Если посмотреть на косточку прямо, то можно было увидеть первосвященника Аарона, окруженного евреями. Они умоляют его сделать золотого тельца. Но стоило повернуть изображение влево и взять за основу одну определенную, известную тебе точку, как ты видел новую картину: держа в руках скрижали завета, спускается с горы Синайской Моисей. И, наконец, косточку можно было



еще рассматривать, повернув вправо. Тогда мы увидели бы горящее возмущением лицо Моисея и разбитые скрижали...

Закончив рассказ, епископ произнес:

— С той поры я всегда ищу секрета в миниатюрах.

Он передал сувенир соседу и прошел в другую комнату. Много времени спустя Апис убеждал людей, что сразу понял затаенный смысл епископского рассказа. Но в тот вечер он, разумеется, ничего не заметил и слушал слова Брассалины с восхищением.

В соседней комнате актеры Яффского театра читали хором стихи, и итальянский певец пел арию Фигаро. Гордон занял место рядом с двумя чиновниками. Он удивлялся: Апис куда-то исчез. Чиновники громко шептались. Видимо, они не скрывали от него своего разговора. Иногда ему казалось: им хочется, чтобы он слышал их шопот.

— Смотрите,— сказал один другому,— как смотрит на него эта датчанка.

— Понятно,— ответил другой:— свежий кусочек. Иногда можно заработать и на художнике.

— Вы с ней жили? — спросил первый.

— Как сказать...

— Значит, жили,— произнес первый чиновник.— И во сколько вам это обошлось?

— Месячное жалованье.

— Дорого.

— Слишком холодна,— шепнул второй чиновник.

Аплодисменты.

«Пой мне о том, как блещет море!» — пел итальянский певец.

Вот когда Гордон побледнел! Он забыл свою игру и коварство. Ему захотелось встать, пройтись по комнатам. Но певец пел, и стулья были сдвинуты.

«Море! Оно мое развеет горе».

Аплодисменты.

Гордон встал. Он пошел к бильiardному столу, но столкнулся с Аписом.

— Вы мне срочно нужны,— сказал он.— Идем!

— Куда? — удивился Гордон.



— За мной.

Они очутились на улице. Шофер подкатил машину.

— Я вас могу проводить до вашего дома.

Они сидели в машине. Молчали.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Гордон снова в Тель-Авиве.

Когда он утром стал одеваться, дантист с удивлением на него посмотрел.

— Зачем вы так рано встаете?— спросил он.

— На службу.

Дантист засмеялся.

— Вот как? Но ваша скромность уж слишком велика. Я думаю, что вы можете бросить свою службу продавца прохладительных напитков.

— Нет,— ответил Гордон.

— Чепуха!— воскликнул дантист.— Многоуважаемый Александр Гордон (дантист выразил на своем лице подобострастие и восхищение, он чуть паясничал), поздравляю вас с большой победой..

— Подождите,— сказал Гордон,— кажется, меня не с чем поздравлять.

Когда на человека сразу обрушиваются две беды, он тупеет в своем горе. Его так огорчил и опустошил разговор двух чиновников, что он почти и не думал о поведении Ионы Аписа. Было ясно: управляющий банком не захочет с ним больше знаться, что-то произошло. И уже в ближайшие дни Гордон узнал от других причину немилости Аписа. В Тель-Авив заехал по делам Пинхас Зильбер из Бецалела; он рассказал кому-то про казус, происшедший на Масличной горе, и слух пошел гулять. Он дошел до Гордона в следующем виде.

Епископ Брассалина был охотник до секретов. В минуты общего восторга на вечере, когда сувенир ходил по рукам, к епископу подошла мать молодой датчанки, о которой говорят так много худого, что юного художника весьма компрометирует его знакомство с ней. Простое ли это знакомство? Говорят, он где-то



добывал для нее нечестным путем деньги, но она хотела все больше и больше, и он взревновал ее к более состоятельным мужчинам. Затем они рассорились. А молодой художник был так глуп, что говорил ей о каких-то своих убеждениях. Грязная плотская любовь и красивой самке помutilа его рассудок. Если у тебя есть разные мысли, подумай раньше, чем бросать их на ветер. Умный человек не расскажет о них и жене, но разве можно сравнить любимую жену с подозрительной особой из Ревеля?

Мать сказала епископу:

— Напрасно генерал так обласкал молодого человека. Мне говорили, он — из ущемленных маккабистов. Если бы генерал знал... Мы тоже когда-то были легковеры и милостивы к нему. Достаточно нашей ошибки. Смотрите, как он втирается в высшее общество.

Вращая сувенир, как кольцо, Брассалина обнаружил то, из чего сделан секрет, но что Гордон вовсе не прятал. Впрочем, и в Тель-Авиве подозревали злой умысел.

Епископ удалился с генералом, рассказал о своей находке. Генерал прочел: «Два великих народа обрабатывают землю своей родины...»

— Что ж, — сказал он, — невинные слова. Я ничего не замечаю в них худого.

— Но юноша из маккабистов, — возразил епископ, — он посылает в своем сувенире упрек Англии. Два народа трудятся на своей земле, но чужое вмешательство мешает их счастью.

Генерал не соглашался.

— Извините меня, господин епископ, — сказал он, — но я не привык, как католик, читать между строк. Мы разгромили маккабистов не за убеждения, а за вооруженное сопротивление.

— Но каждый сопротивляется, как умеет, — сказал епископ. — Этот молодой человек мстит Англии своим тенденциозным искусством.

Генерал ответил:

— Мне говорил о нем господин Апис. Молодой художник бежал из революционной России, он рекомен-



давал его, как человека трезвого, чуждого грубой, площадной философии. Наконец я не хочу заниматься делами моей канцелярии. Если б у них было подозрение, они и без меня побеспокоились бы о его судьбе.

— Одна уважаемая особа,— сказал епископ,— передавала мне высказывания молодого человека. Он с одинаковым упорством и тупостью защищал и максималистские идеи сионистов и панарабизм.

Епископ в конце концов убедил генерала, и тот вызвал к себе в кабинет Аписа. Генерал благодарит его за дружбу и верность, в которой он не сомневается, но думает, что молодой художник вряд ли заслуживает ласк, оказываемых ему видными людьми. Говорят, Апис так испугался, когда генерал прочел ему слова, окаймляющие пейзаж на сувенире, что немедленно признал большую вину Гордона и попросил у генерала прощения за поступок художника. Апис оказался его жертвой.

Когда дантист узнал историю Гордона, он сказал:

— Почему же вы говорили, что мне не с чем вас поздравить?

— С чем же?

— Конечно, не с карьерой,— ответил дантист улыбаясь.— Карьеру вашу вы немного подмочили... но зато я поздравляю вас с мужеством.

Он понизил голос:

— Я тоже думаю, что Англия нас обманула. Вы только напрасно приплели арабов. Если хотите, я вам скажу, в чем беда нашего народа: мы всегда вмешиваемся в чужие дела, заботимся о чужих народах. Ну что вам арабы? Ей-богу, еще Пушкин сказал: чем больше мы арабов любим, тем меньше правимся мы им... Правильно?

Гордон молчал.

— Все равно,— воскликнул дантист,— вы молодец! Выкинуть такую штуку! Где? На Масличной горе! В губернаторском доме! У генерала Сторрса!

Снова жизнь в Тель-Авиве.

Гордон сидел в киоске, наполнял колбы, размешивал ложечкой содовую воду, принимал цилиндры, си-



фоны, ящики с бутылками. Киоск стоял на бульваре. На бульваре росли пальмы. В тени пальм расположились скамейки. Люди садились, уходили. Однажды на скамью сел доктор Клаузнер, тот самый, который был больше похож на лилию, чем на доктора. У киоска никого не было.

— Господин Клаузнер,— сказал Гордон,— добрый день.

Доктор удивился.

— Откуда вы меня знаете?

— Когда я был маленьким, я ходил на ваши лекции в Явне, на Большой Арнаутской. Помните?

— Как же! Еще бы!

Доктор обрадовался.

— Я очень любил ваши лекции,— продолжал Гордон,— я так мечтал о святой земле... и вот я приехал сюда.

— Прекрасно,— сказал доктор.

— Я бросил Россию... и вот я здесь.

Доктор насторожился.

— У вас ко мне просьба?— спросил он.

— Нет, доктор... правда, мне живется тяжело.

— Ничего удивительного,— ответил доктор.— Мы — молодая страна. Дайте развернуться. Надо работать для строительства своей родины. В самом деле, это не дело для вас — сидеть в киоске. Погодите, я вам сейчас дам рекомендательное письмо.

Доктор достал блокнот, прислонился к киоску.

— Пожалуйста,— сказал он.

И ушел.

Гордон развернул записку и прочел адрес.

«В «Солел-Боне»,— писал доктор Клаузнер.— Прошу предоставить подателю сего работу на каком-нибудь участке...»

Гордон вспомнил молодого человека из ресторана и разорвал записку.

Как-то к нему на службу снова прибежал дантист с новостью.

В последние дни Березовскому повезло. В Тель-Авиве открылась поликлиника. Дантист подал десятки



заявлений в национальный комитет, в развинул, в муниципальные учреждения и разослал множество писем видным людям города. Он так всем надоед, что ему отдали должность зубного техника. Дантист переживал веселое время, приходил домой с покупками.

— Отчего вам везет? — воскликнул дантист. — Разве я хуже вас? или глупее?

— У вас для меня есть новость? — спросил Гордон.

— Ну почему, — продолжал дантист, — я никогда в жизни не получал голубых конвертов? Отчего женщины не любят дантистов? И зачем меня сделали дантистом? Боже мой! если бы только сосчитать, сколько у меня было несчастных романов...

Гордон взял из его рук голубое письмо. К удивлению дантиста, он положил его в карман и поблагодарил. Дантист был поражен, что его постоялец не сразу вскрыл письмо, не обрадовался, не бросился читать. Такое поведение показалось ему до того неожиданным, что он не двигался с места.

— Кончено! — вскричал он. — Теперь я вас понимаю!

Он пощипывал свои короткие усы — они должны были уменьшить длину носа — и смотрел на Гордона, как человек, который внезапно прозрел.

— Все понимаю, все! Если ты хочешь, чтобы женщина тебя любила, делай вид, что ты — железный человек и что до твоего сердца так же далеко, как до Египта. Бросай ее письма в карман, как будто это не письмо от женщины, а повестка от мирового судьи. Теперь я все понимаю.

Письмо лежало в кармане, и Гордон думал: что же в нем пишет датчанка? Неужели она простила ему? Он решил: что бы она ни писала ему в письме, он оставит его без ответа. Нет, история не пойдет вспять.

Он наговорил себе много таких слов, пока письмо лежало в кармане. Наконец он не вытерпел и вскрыл его.

— Вот как! — удивился он.

Ни к чему были все соображения. Письмо прислала Малка, молодая жена его ребе. Он ругался, читая пу-



танную ложь, нагроможденную ею. Она сообщала, что ей удалось убедить Акиву в ее любви к нему — к Гордону. Слава богу, его подозрения мало-помалу оставили Мусу. Ребе Акива уже о нем не вспоминает. С недавних пор он начал ее попрекать привязанностью к Гордону. Малка счастлива: ее игра удалась.

— Если бы дантист знал...

Гордон улыбнулся. Такие любовные письма мог, вероятно, получать и он. Знал ли он, чему завидует?

«Все же мое сердце неспокойно,— писала Малка,— старик ревнует меня и к вам и к нему. Мне стоило больших усилий навести следы его подозрений на вас, но еще не удалось совсем отвести от Мусы. Дорогой друг, вы можете мне в этом помочь. Я умоляю вас: напишите мне интимное письмо. Я сделаю так, что Акива его перехватит. Не могу поверить, что вы мне откажете. Как вас упросить?..»

— Чепуха,— ругался Гордон, размешивая для покупателя соду в стакане.

Он решил послать Малке банальное любовное послание с дурацкими цветистыми фразами из писемовника и перечислить все ее красоты, к которым он был равнодушен. Он пошел после работы на почту, заполнил четыре страницы дребеденью, но не подписался.

«Ваш желанный,— поставил он вместо подписи,— ваш счастливый поклонник, охранитель вашего покоя, ваш соловей, сторож вашего виноградника, ваш слуга и воин, ваш раб и царь, ваш полководец и солдат, ваш безумный обожатель из Тель-Авива...»

«Угодил наконец?» — подумал он, покидая почту.

Через неделю дантист принес ему еще один гол, бой коштерт. Малка была растрогана, благодарила. Игра ему удается. Он написал так поэтично и возвышенно, словно и в самом деле любит ее. Ей так понравилась его длинная подпись. Она попросит Мусу перенять у него этот благородный стиль. Она ждет его ответа и на второе письмо. Все произошло так, как она хотела: Акива перехватил послание, набросился на нее и набил. Она счастлива.

Современем Гордону стала нравиться его служба



киоске. Дела крохотной фирмы Розенблатт и Зильберберг шли хорошо. Хозяева увеличили ему жалованье. Гордон тайно сшил себе костюм у Ушера Окуня...

...Мистер Броун прервал мой рассказ, спросив с удивлением:

— Почему тайно?

...В Голте жил портной Ушер Окунь. Это был совсем особый еврей. Голтинцы говорили, что его мать, будучи беременной, видно, много думала о сатане и всякой нечисти. Не к ночи будь помянуто, не про вас будь помянуто, не про нас будь помянуто, не про наших друзей будь помянуто. Тьфу! В Голте портняжил человек — исчадие ада, Ушер Окунь. Ему пристав сказал:

— Перемени веру, окрестись и будешь получать большие заказы от полиции.

Окунь переменял веру и имя — стал Иваном. Но жил он так же плохо и имел мало заказов. Однажды ему сказали:

— Вот где хорошо — в Румынии!

Ушер — Иван Окунь — бежал через границу в Румынию, поселился в Яссах. Но и там ему было плохо. Когда Бальфур провозгласил свою декларацию, евреи из Ясс часто говорили:

— Разве здесь жизнь? В Палестине — вот где жизнь!

Окунь пробрался в Палестину, но там узнали, что он был выкрестом, и никто не пожелал с ним иметь дела. Он ходил к тель-авивскому раввину, каялся. Напрасно!

— Вон! — кричал раввин. — Вон, исчадие ада!

Так жил Окунь в Тель-Авиве. Открыто заказать ему костюм было опасно, но так как брал он вдвое дешевле других портных, ему заказывали тайно. Дантист как-то признался Гордону, что он, из-за великой своей бедности, шьет себе платье у проходимца. Гордон попросил его свести с Ушером-Иваном Окунем и ночью пробрался к нему. Тот снял с него мерку при закрытых ставнях. Он ходил к нему часто по но-



чам, крадучись и заматая следы. Костюм был готов. Гордон возвращался с свертком подмышкой. Он оглядывался, ловил шаги прохожих, был весьма осторожен, так как боялся не за себя, а за судьбу Ушера Окуня. На повороте его тихо окликнули. Гордон бросился бежать. Человек его настиг.

— Александр!

Гордон остановился: он узнал знакомый голос.

— Ровоам Висмонт! — воскликнул он. — Я тебя искал. Почему ты ко мне не зашел?

— Сядем на скамью, — ответил Ровоам. — Очень хорошо, что я тебя встретил на улице. Я бы к тебе не зашел. Не удивляйся. Можно обойтись и без прощания, когда оно способно тебе повредить.

— Я ничего не понимаю, Ровоам.

— Сегодня вечером, — ответил Висмонт, — еврейский суд постановил выселить меня из пределов Палестины. Если я не покину ее в двадцать четыре часа, они передадут мое дело английской полиции, а это гораздо хуже: я вовсе не хочу сесть в Аккрскую тюрьму, как Муса.

— Как Муса? — воскликнул Гордон.

— Он стал жертвой страсти твоего ребе: Акива на него донес.

— Куда же ты едешь?

— В Египет, в Каир. Я совершаю обратный переход через Синай, — сказал Висмонт улыбаясь, — не из Мицраима в святую землю, а из святой земли в Мицраим.

— Когда?

— На рассвете.

Они проговорили остаток ночи, и Висмонт перед прощанием рассказал ему историю ребе Акивы. Гордон показал ему письма Малки, сообщил о ее просьбе.

— Твои письма не помогли, — сказал Висмонт. — Случилось, что ребе Акива поймал мальчика-посыльного, отодрал за ухо и забрал записку.

«Прошу вас, Малка, — писал офицер, — приходите вечером на Храмовую площадь. Вспомните наши детские игры. Ваш Муса».



Лгунья! Она утаила от него какие-то детские игры.

— Ты умрешь,—закричал он на Малку за ужином,—ты умрешь молодой, как праматерь Рахиль.

Когда Бальфур провозгласил в Лондоне свою декларацию о даровании евреям Палестины и сионисты возликовали, Акива Розумовский ворчал.

— Эти молодые люди,—издевался он над сионистами,—хотят опередить Мессию. Тьфу!

Но тут он вспомнил вражду между сионистами и панарабистами и стал убеждать Малку словами сиониста:

— Муса,—кричал он,—один из тех, кто хочет лишить нас английской помощи. Он хочет выгнать нас из святой земли.

Но Акива видел, что Малку не трогают его речи. Ее не интересовала судьба еврейского государства с несколькими батальонами Жаботинского и дипломатией Хаима Вейцмана, техническим гением Руттенберга и экстазом интеллигентных юношей из России.

Он не был в силах возбудить в ней национальную вражду к Мусе. А посыльные стали появляться все чаще. Они делались неуловимей, и многим из них удавалось передавать записки офицера. Акива перестал показываться в кинематографе, но лживая Малка приурочивала для встреч те часы, когда ее муж уходил в синагогу, к Стене Плача или к раввину. Акива знал, что они встречаются на Храмовой площади. Не найдя Малку дома, он в один вечер отправился в это ранее недоступное евреям место. Малка сидела с офицером на мраморных ступенях мечети Омара. Акива не решился туда подойти. Он вернулся домой. Когда она пришла поздно ночью, он ударил ее по лицу.

— Ты умрешь!—закричал он,—ты умрешь, как праматерь Рахиль.

С того дня она стала звать Мусу к себе в дом. Она угощала его вином кармель. Она перестала бояться уличных разговоров, родительских наставлений и мужниных угроз. Сидя против своего гостя, Малка расспрашивала его о военных походах.

— В Джедде,—вспоминал офицер,—я познако-



мился с полковником Лоуренсом. Я был у него шофером. В то время я еще верил этому обманщику.

— Полковник Лоуренс — обманщик?! — ужаснулся Акива.

Он знал, что Лоуренс повел за собой арабов, обещая им независимое государство, со столицей в Дамаске. Ныне часть арабской земли отдана сионистам. Прежде ни один араб не решался высказать эту мысль при еврее.

Акива вздрогнул, когда посредине воспоминаний Муса воскликнул:

— Мне двадцать шесть лет, Малка.

Акива подумал: им обоим было пятьдесят четыре, ему же одному недавно исполнилось семьдесят.

Желая попытаться, спит ли его жена с Мусой, Акива пожертвовал однажды синагогой. Он спрятался за дверь и, задержав дыхание, уткнув левый глаз в скважину, подслушал их разговор. В этот день ревность, запутавшаяся в силках его души, нашла себе выход. Офицер и Малка сидели рядом. Он накрыл своей просторной ладонью обе ее маленькие руки.

— Малка,— говорил печальным голосом Муса,— я буду тайно к тебе приезжать. Мои товарищи запрещают мне ходить к еврейке. Я обещал им уехать в Наблус.

— Я боюсь за тебя,— ответила офицеру Малка.— Тебе не устоять против англичан, Муса!..— воскликнула она с тем беспокойством, которого Акива в ней еще не знал.— Муса, у тебя в Наблусе невеста!

Офицер улыбнулся.

— Ни в Наблусе,— ответил он,— ни в Хайфе, ни в Кесарии, ни в Каире, ни в Мекке, ни в Джедде.

— А в Константинополе? — спросила повеселевшая Малка.

— И в Константинополе нет.

— А в Дамаске? а в Бейруте?

— Ни в Дамаске, ни в Бейруте,— ответил, целуя ее, Муса.

Крадучись, как вор, покинул Акива собственный дом. Впервые после многих лет почувствовал он тя-



жесть своего горба. Он спешил к Масличной горе, держа путь к дому иерусалимского губернатора генерала Сторрса.

Индус-часовой, с которым Акива заговорил по-еврейски и по-турецки, покачал головой и вызвал коменданта.

— Государственное дело, — шепнул коменданту Акива и рассказал ему подслушанный разговор.

Он пошел домой, успокоенный, однако ему не удалось вкусить яблока своей мести. Офицер Муса, признанный участником заговора националистов из Наблуса, был арестован через две недели, а ребе Акива Розумовский умер в тот же день. В полночь кончилась его вторая жизнь.

Когда по улицам Иерусалима проносили его черный гроб, люди выходили из своих домов.

— Борух дайон эмес! — шептали они. — Благословен судья праведный.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Письмо с известием о доносе Акивы и о его смерти было последним. С той поры Гордон замолчал. Я и не знаю, что он сейчас, — в Тель-Авиве или в Европе. Как художник, он всегда стремился в Париж, может быть, он там, на большом рынке живописцев, среди шестидесяти тысяч непризнанных талантов Монмартра и Монпарнаса?

Rue Karmel 39 pour Gordon.

Это был его последний адрес. Дантист получил приличную должность и устроил свои дела получше. Он переехал на новую квартиру. Я писал туда. Два моих письма остались без ответа. Так я стал забывать о моем друге, но время от времени, когда мне попадаются люди, приехавшие оттуда, я вспоминаю Гордона, спрашиваю, но никто не знает его, ни о нем. Ранней весной я был по делам службы в крымских колониях. Там, за Евпаторией, уходит к Ак-Мечети, на север полуострова, каменная степь. В тридцати километрах от Ев-



патории — национальный Франдорфский район. Среди евреев из местечек и городов юга живут и горские евреи и десятки колонистов из Палестины. Я был в их селении. Они слышали и про Медре, и про Висмонта, и даже знали историю маниятуры Гордона, но никто его никогда не видел, и его судьба была никому неизвестна. Вот я встретил в Биробиджане вас и надеялся что-нибудь узнать о Гордоне, но и вы его не встречали в Палестине, и так мы проговорили с вами всю ночь о нашей родине, из которой родины-то и не получается.

Мистер Броун смотрел на вагон, где жила экспедиция. Там в одном окне отдернули занавеску. Мы заметили, как прошел человек без пиджака, в подтяжках, с переброшенным через плечо полотенцем.

— Это — Вильям Гаррис, — сказал Броун. — Наш президент встал, — значит, начинается рабочий день. Пойдем в вагон!

На ступеньках вагона сидел станичник, толстый старичок в кожаной куртке, с длинной трубкой. Он, видимо, уже отработал свою жизнь и ходил по селу, болтал с людьми. Проводник угощал его чаем.

— Чай ничего, — произнес станичник, — подходящий чай. А прежний-то, кяхтинский, вкусней был.

— Дура, — отвечал проводник, — это же из Кяхты и есть. Американцы китайский пьют, сам заваривал.

Станичник поздоровался с нами, посмеялся над борьбой Броуна с комарами.

— Какие сейчас комары, — сказал он, — остатки. При Пузине, — вот когда комары-то были!

Спросили его, давно ли он тут живет, и узнали, что он был одним из первых жителей края.

— Нет, сейчас жизнь нестрогая. Вот был начальник Пузин! Тот бы показал, какая бывает жизнь.

Как же, он помнит свое новоселье. Их возили по рекам, оставляли на берегах: «Живите!»

Был среди начальников и полковник Пузин; сейчас есть даже село Пузино.

— Какие страдания были! — сказал станичник.

Разбивали семью, назначая отца в Забайкалье, а сы-



на,— в Амурский край, в Уссурийскую тайгу. Новые места были страшные, неведомые. Смертные места!

Иногда поселенцы оказывались на островке. Им грозило затопление. О возвращении тогда не думали: тогда «обратник» нарушал царскую волю и карался военным судом.

«Где же тут пахать!» — ужасались казаки.

Скалы, болота, кочки!

Были у них отличные бараны — красивые, роговчатые. Но бараны слепли от мошки. Мошка садилась на веки и подглазья. Человек, он может от них отмахнуться руками, а скотина!

— Известно, скотина она без помощи.

И ослепли роговчатые бараны, а лошади убежали. Мошка за ними, а они бегут. Так их замучили, так покою не давали, что лошади ушли за тысячу верст. Погибли из них многие в болотах, а иных встречали потом в Забайкальи.

«Лошади ваши пришли к нам» — получали казаки через год или два вести из Забайкалья.

Дали казакам на два года провианта; корчевали они лес, жгли кустарник, развели огороды, печи поставили, задымили,— вот комар стал понемногу отходить. Строгая была жизнь! Нет, сейчас жизнь не такая, разве в пример прежней строгости. У вас кто заместо полковника-то, Пузина? Робинсон, что ли?

— Я худого не говорю,— продолжал станичник,— честно работают; и сено косят, и дерево валят, и огородной работы не чуждаются, и в поле... Я про строгость говорю. Распустить можно. Бумажка-то ваша али постановление — не дело. Бумажка человеку небедительна... Вы кто будете — американцы, что ли?

— Да, дедушка, я из Америки,— ответил Броун.

Старик подошел к нему ближе.

— Я на той неделе с телеграфистом поспорил,— сказал станичник,— рассказывает, что кино смотрел, будто американскую актерку видел. Я ему говорю: «Не может того быть. В Америке актерок не допускают. Там такого разврату нету». — «Почему?» — спрашива-



ет.— «Потому, говорю, что там все люди землю па-  
шут».

— Проиграл ты спор, дедушка,— ответил Броун  
смеясь:— есть у нас актрисы...

Старичок недовольно отошел. Взгляд его говорил:  
врет американец.

Мы сели за стол, позавтракали. Пока пили чай, при-  
шел Робинсон. Он сказал:

— Я заглянул к вам, чтоб помочь в разработке се-  
годняшнего маршрута.

Уполномоченный Биробиджана был в прошлом по-  
литическим ссыльным. Когда он попал в сибирскую де-  
ревню, он был слаб телом, некрепок в движениях, чужд  
природе. Он знал историю, три языка, прочел не мень-  
ше тысячи книг по политике, философии, искусству, но  
никогда не видел поля, леса и реки. Он не встретил до  
своей ссылки настоящего мужика. Он один раз побы-  
вал среди рабочих в железнодорожных мастерских, и  
добрые, но чуть насмешливые и покровительственные  
взгляды огорчили его. Через несколько месяцев к не-  
му в деревню привезли каких-то особых революционе-  
ров, совсем на него непохожих. Они хорошо управля-  
ли своим телом, знали природу так же хорошо, как  
Маркса и Плеханова, и легко разговаривали с мужи-  
ками, которых Робинсон в первые месяцы стеснялся.  
Как и всех ссыльных, биробиджанского уполномо-  
ченного освободила Февральская революция. Он вер-  
нулся на родину рослым мужчиной, полюбившим кре-  
стьянский труд, прекрасным всадником, пловцом и  
человеком, приобретшим в обращении с людьми всех  
званий и с природой ту фамильярность, которая в лю-  
бой обстановке делает его близким и понятным. В  
старом местечке сказали бы о нем: «Он стал грубым  
евреем, детиной!»

Чужая природа устроила переселенцам испытание.  
Они запомнили тревожный день. Зной душил. В тот  
день никто не сидел дома: кто ползал по крыше неот-  
строенного дома, кто возился у стога сена, кто полол  
картофель.

И над всем — солнце августа! От круглоголовой и



заросшей лесом сопки шел пар. Он то растворялся,— и тогда явственно проступала зеленая хвойная шапка,— то снова густел, застилая сперва верхушку, потом опускаясь все ниже и ниже, пока не закрывал ее от глаз человека. День становился жарче. Пар перестал растворяться. Он все густел и густел, плотно опускаясь на цветную макушку сопки.

Смотрели переселенцы: дымится хвойная шапка «Ветер»?

Нет, ветра не было. Новоселы готовились к катастрофе. Они смотрели то на сопку, то на посеvy. Хлынул дождь. Небо разорвалось. Шумели косые потоки. Из тайги прибежал испуганный скот. Ему негде было спрятаться. Они прижались к домам и баракам — тучные коровы и сытые лошади. Дождь шел всю ночь.

Когда настал рассвет, новоселы увидели затопленные пашни. Лишенные каналов для отвода воды, они превратились в ненужные водохранилища. Дождь шел, раздвигая реку и калеча берега. Он уносил тес и сено. Он шел несколько дней, пока не иссякла последняя туча.

Небо заголубело.

Новоселы считали убытки, искали в реке трупы животных. Где унесло дом, где погиб урожай. Но до сих пор Биробиджан гордился тем, что новоселы выдержали испытание, а шматы! Что об этих тряпках говорить... Они удрали до наводнения, бог с ними совсем. Гордились новоселы, гордился и Робинсон. Скосили новое сено, отстроили дома, скот гуляет по тайге, опять цветет белая гречиха.

— Доброе утро, уполномоченный.

Он раскатал карту, все над ней склонились, стали водить карандашами...

— Сегодня я предлагаю перевалить через Бомбу,— сказал президент Вильям Гаррис,— мы посмотрим залежи туфа, побываем в Александровке и Бирефельде. Что мы там можем видеть?

— В Бирефельде — опытная станция,— сказал Робинсон,— рядом есть колхоз из палестинцев, а в Александровке мы расселили евреев среди украинских колонистов...



— Какие палестинцы?— спросил я.

— Восемьдесят человек,— ответил Робинсон.— Это очень хорошие земледельцы, но... трудно с ними работать! Они, видите ли, не признают жаргона. Я вас спрашиваю: кого это здесь интересует— в Биробиджане?

Восемьдесят человек прогорели на своей плантации около Яффы. Узнав о Биробиджане, они снялись всей колонией и приехали сюда. Они пожелали быть в одном колхозе. Они жили замкнуто и разговаривали между собой по древне-еврейски. Они спросили Робинсона: «Можем ли мы назвать наш колхоз «Хаим Хадош<sup>1</sup>»? — «Этот мертвый язык здесь ни к чему». — «Но мы не признаем жаргона». — «Вы приехали к нам, а не мы к вам»,— ответил Робинсон.— Здесь говорят, пишут и учатся на народном разговорном языке, который вы изволите презрительно именовать жаргоном. Вы должны дать своему колхозу еврейское, а не библейское название».

Палестинцы подумали и сообщили Робинсону, что они решили дать своему колхозу имя на языке эсперанто: Вой о ново.

— Им кажется,— сказал Робинсон,— что они что-то такое отстояли, а народ наш смеется над их детскими забавами с эсперанто вместо жаргона. О чем толковать? Многие из них уже говорят, а двое женились на дочерях жаргона... Колхоз у них поставлен очень хорошо,— закончил Робинсон,— все постройки чистые, скот в лучшем порядке, живут мирно...

— Товарищ Робинсон,— спросил я,— не знаете ли вы их по фамилиям?

— Как же, со всеми знаком.

— Гордон— есть такой?— спросил я, глядя на улыбающегося мистера Броуна.

— Гордон? Не помню. Нет, такого в их колхозе нет. Постойте, есть Гордин.

— А как его зовут? Александр?

— Нет, не Александр. Цви Гордин очень пожилой человек. Не подходит.

<sup>1</sup> Новая жизнь.



На нас строго посмотрел президент.

Мы с Робинсоном поняли: частные разговоры пока прекратить. Есть ли лошади? Приготовлены. У сельсовета стоит телега для вещей и геологических инструментов. Для начала экспедиция заедет на двадцать второй километр. Там, в тайге, есть большая пасека. Пасечники снабжают весь Биробиджан медом и медовым квасом. Очень стоит познакомиться с зоотехником-самоучкой. В прошлом году он боялся пчел и сидел у себя в комнате, напаялив сетку. Пчелы его полюбили, знают его. Он выходит к ним с открытым лицом. Он уже предлагает новые проекты рам: его не устраивают ни покатые колоды системы американца Бодана, ни широкие плоские ящики системы Левицкого...

Стук в дверь оборвал рассказ Робинсона. Проводник выждал, потом просунул голову.

— Робинсона просят.

— По какому делу?

— Из Александровки,— говорит.

Робинсон махнул рукой, улыбнулся.

— Я догадываюсь,— сказал Робинсон,— по поводу проклятой синагоги.

— Какой синагоги?

— Совершенно неожиданный казус,— ответил Робинсон смеясь.— намутили нам тут сектанты.

Президент Гаррис заинтересовался.

— Я прошу вас,— обратился он к Робинсону,— принять его здесь.

— Войдите,— крикнул Робинсон.

Послышался кашель. В вагон вошел пожилой еврей с слезящимися глазами и кнутом подмышкой.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Есть на Подолии, в Киевщине знаменитые среди евреев местечки: Белая Церковь, Васильков, Немиров, Литин. Два столетия с лишним назад на Украине появился человек, основавший хасидизм. Его проз-



вали Бал-Шем-тов, что значит: «Господин Доброго Имени». Он основал секту религиозных романтиков, чья жизнь была наполнена верой в чудеса, они собирались для песен и плясок во имя того бога, который, по учению ортодоксов, таких вещей не любит. Самое знаменитое местечко — Меджибож, в двадцати пяти километрах от Проскурова, — резиденция первого хасида. Здесь показывают чудесный колодец его имени и насыпь над его могилой, куда старики кладут записки с мольбой о хлебе и о благополучии своих детей.

«Великий хасид, — просят они в записках, — исходатайствуй перед богом здоровья для моей Мани, хорошей службы для моего Арона, долгих дней для моего мужа...»

В каждом знаменитом местечке был в недавние времена свой цадик и свой еретик, или апикойрес, как его тут называли. Цадик жил в одиннадцати комнатах, содержал большой штат, ему приносили продукты и деньги, и свита поедала остатки его обедов и ужинов. Еретик, или апикойрес, ходил по улицам с непокрытой головой, ел хлеб и пил воду в судный день, заходил в поганые трактиры и страшил всех добрых людей отвратительно — вольными мыслями.

В апикойресы обычно попадал какой-нибудь рабочий человек, подмастерье: либо кузнец, либо бондарь, либо извозчик. Был такой и в Литине еврей-ломовик; он вечно торчал со своим кнутом у товарных складов, от него пахло водкой, он громко смеялся и своими неуместными шутками мог задеть самого цадика из знаменитой литинской династии. У него не было ни жены, ни детей, в доме свистела нужда, он одевался в мужицкий кожух, и его прозвали Грубияном.

— Дети, прочь отсюда! Вот идет Мойша-Грубиян.

Когда в местечке нечем стало кормиться, многие записались в Биробиджан. Они приходили с женами и детьми в дом, где остановился вербовщик, расспрашивали, шумели.

— Эй, товарищ, — сказал Мойша-Грубиян, — запиши и меня.

Так он очутился в Александровке и стал членом кол-



Хоза «Заря Востока». О таком человеке рассказывают великое множество историй. Однажды в субботу он закурил в синагоге.— Скандал! В день разрушения второго храма он остановился со своими битюгами у колодца, напоил лошадей и сам подsunул голову под кран.— Скандал! Как-то он пустил слух, что пойдет к цадику. Все местечко заинтересовалось: разве ребе примет такого человека! Но литинский цадик его принял. Он надеялся искусными речами и замысловатыми притчами убедить Грубияна в величии веры.

— Ребе,— сказал Грубиян,— есть книга Талмуд?

Ребе засмеялся.

— Есть, дитя,— ответил он,— и Вавилонский Талмуд и Иерусалимский.

— Правильно, ребе,— осмелился сказать Грубиян,— и вот я слышал, что в Вавилонском Талмуде есть трактат Бава-Меция или Бава-Кама.

— И Бава-Меция,— ответил цадик,— и Бава-Кама... очень похвально, что ты слышал, сынок.

— Вот видите!— воскликнул Грубиян,— и там рассказывается, как жена первосвященника ела жертвенное мясо, но тут к ней пришли люди и сказали: «Твой муж умер». Ах! Значит, ребе, она уже не жена первосвященника, а вдова. Правильно я говорю, ребе?

— Золотые слова.

— Я же все знаю! Как жених на иждивении!— вскричал Грубиян.— Но если она не жена, а вдова, то не имеет права есть жертвенное мясо, так как жертвенное мясо может есть только первосвященник или его жена. Я ничего не напутал, ребе?

— Нет, дитя мое.

— ...Тогда, слышал я, заспорили две бражки. Бражка Гилеля и бражка Шамалья...

— Школы,— поправил ребе.

— Нехай будет две школы. Заспорили они, значит, что нашей вдовице делать с мясом— выплюнуть или проглотить? Одни говорят: раз она не жена первосвященника, пусть выплюнет, а другие отвечают: если мясо у нее уже во рту, пусть проглотит. Спорили они день, ночь, неделю, месяц... и не добились никакого



толка. И тогда они решили оставить разрешение вой-  
роса до пришествия Мессии. Так, ребе?

— Верно, сынок!

— Как жених на иждивении! — воскликнул Мойша-  
Грубиян. — Все знаю!

Он сощурил свои слезящиеся глаза и сказал:

— Ребе, я решил задачу: я знаю, что нашей вдове  
нужно делать.

Ребе улыбался.

— Что, сынок?

— Ей нужно мясо проглотить.

— Почему?

— Я держусь такого мнения, что если есть что гло-  
тать, надо глотать и никаких двадцать!

Мойша-Грубиян увидел, как побагровело у ребе ли-  
цо, и все вокруг испугались.

Скандал!

Сейчас Мойша-Грубиян стоял в вагоне, у стола, где  
сидел уполномоченный Робинсон и заседала американ-  
ская экспедиция во главе с президентом Вильямом  
Гаррисом.

— Что вы на это скажете? — воскликнул он. — Наши  
шматы уже забегают перехватить одну-две молитвы.  
Эти русские чудаки нам наплевали в кашу. Откуда они  
взялись такие?

— Когда же они ее успели построить? — спросил  
Робинсон.

— В три дня. Они работали, как пожарная команда.

Вильям Гаррис попросил Робинсона рассказать, о  
чем у него идет речь с Мойшей-Грубияном. Робинсон  
сослался на русскую историю и сообщил, что в пят-  
надцатом веке возникла в Новгороде Великом рели-  
гиозная секта, которая признавала только Ветхий  
завет и вела переписку с еврейскими учеными. Москов-  
ское правительство объявило сектантов еретиками и  
прозвало жидовствующими. Впрочем, с годами сек-  
танты, изгнанные в Сибирь, действительно переняли  
еврейскую веру. В Забайкальи, в округе Зима, есть и  
сейчас такая колония. Это — широкоскулые, как все  
забайкальцы, мужики. но они празднуют еврейские



праздники, и у них свой раввин, он же оператор, совершающий обрезание. Раввина зовут Илларион Потапов.

Когда в Забайкалье пошел слух о Биробиджане, несколько десятков семей сектантов покинули старые места и со всем своим скотом и имуществом перебрались в Биробиджан. Их встретили здесь с удивлением, но приняли, как всех переселенцев, и они построили для себя дома в Александровке. Группа эта и выстроила неожиданно для всех синагогу.

— Наши евреи,—сказал Мойша-Грубиян,—совсем забыли про бога, но вдруг эти чудаки... мы, товарищ уполномоченный, недовольные, что они нам мутят работу... я видел, как один-другой забегает к ним перехватить молитву.

Мы спросили Робинсона, что он намерен делать.

— Они же все равно кулаки,—ответил он,—мы их сюда пустили по ошибке. Меня удивляют еврейские переселенцы,—от них и не пахло религией. Но если хотят молиться, пусть молятся. Их засмеет молодежь. Как власть, я не имею права препятствовать.

— Закройте и все!—сказал Мойша-Грубиян.

— Нет,—возразил Робинсон,—это зависит от вас самих.

— А что сказать нашим?

— Передайте, что я к вам заеду завтра.

Мы снова вернулись к маршруту. А через полчаса мы уже переезжали вброд Биру. Мы оказались в бездорожной тайге. Мистер Броун напялил на лицо сетку, спасаясь от комаров. Наши кони пробирались через кустарник, топтали кедровые шишки. Во многих местах тайга была заболочена.

Мы говорили о причинах заболоченности Биробиджана. Дальневосточный край лежит на берегу Тихого океана. Летом—в июле и августе—дуют с океана теплые, влажные ветры. Они ударяются о горы и сбрасывают там влагу. Вот почему здесь так много дождей.

Мы говорили о горах Биробиджана. Горы на западе, на севере, внутри страны. Вдоль Амура тянутся гор-



ные хребты в полкилометра и километр вышины. С гор стекают реки и речки, ручьи и родники. Берега рек низки, и вода выходит из берегов. Она размывает почву и верхний слой подпочвы.

Вильям Гаррис сказал:

— Здесь во многих местах глинистая подпочва; она не пропускает воды, а мертвый травянистый слой, накопившийся веками, создает неровность рельефа. Он удерживает влагу. Вот и все причины заболоченности Биробиджана.

Мы ехали весь день по тайге, нахлобучив на себя брезентовые плащи с капюшонами и погрузив ноги в болотные сапоги. Американцы много говорили между собой, делали кое-какие выводы. Почва хороша, но из-за малоснежной зимы и поздней весны плохо вызревает пшеница, однако отлично родится рис.

Президент сказал:

— Мне очень нравится здешний картофель.

Профессор Соулс Киффер, секретарь президента, ехал впереди. Он записывал в блокнот все деловые и поэтические слова Гарриса. Тот восхищался биробиджанской тайгой, — этим великим царством лиственницы и кедра, — горными реками, образующими воронки, омуты и низвергающими камни, очертаниями Хингана, синими сопками на горизонте, цепью вершин с одинокими кедрами на макушках, тишиной нетронутого мира.

Мойша-Грубиян был с нами. Ему по пути с экспедицией, говорил он. Он смотрел американцам в рот: значит, вот они какие, настоящие американцы.

— Нет, — ответил Броун, — мы не буржуи.

— Извините, какой же класс? Не рабочие ведь?

— Нет, не рабочие.

— Я понял, — воскликнул Грубиян: — вы американская интеллигенция. Когда видишь человека в костюме из лондонского сукна, всегда думаешь, что он — буржуй. Скажите, пожалуйста, Нью-Йорк — большой город?

— Большой.



— Еще больше, чем Москва? — с недоверием спросил Грубиян.

— Больше.

— Ну и ну! — воскликнул Грубиян. — А сколько у вас жителей?

— Семь миллионов.

— И каждый находит себе кусочек хлеба?

Броун улыбнулся.

— По совести говоря, не каждый.

Мы заехали на пасеку и тут распрощались с Мойшей-Грубьяном.

— Мистер, — крикнул он прощаясь, — передайте там нашим американским евреям, чтобы они меня не ждали. Я не скоро приеду.

Мы заехали еще в Бирефельд и поздно вечером прибыли в Александровку. Горели костры. Люди еще работали — корчевали лес. На очищенном участке стояло два десятка домов. За ними были разбросаны палатки. Стога сена, белая гречиха, светлый овес, огороды. У входа в село — колодец. В одном из домов играли на гитаре. Шел дым от временных печей, от костров. Варилась рыба — по запаху, кета. Люди обживали тайгу.

Мы остановили человека с топором. Он возвращался с корчевки, заходил в село.

— Как место называется?

— Войо Ново, — ответил человек с топором.

— О, мы заехали к палестинцам, — сказал Броун.

Мы спешили, привязали лошадей, зашли в первый дом. В десять минут весть о нашем прибытии дважды обошла село. Избу окружили со всех сторон, заходили, выходили, заглядывали в окна.

— Кто из вас знает английский язык? — спросил Вильям Гаррис.

— Все, — ответили в избе, в сенях и за окном.

С первого взгляда они не отличались от других бибиджанцев. Как и остальные новоселы, они были одеты в брезентовые плащи и кожаные сапоги и обуты в высокие болотные сапоги. Но мы присмотрелись и увидели загорелые лица. Почти все были одного возраста: ви-



димо, из тех, кто перекочевал в святую землю после декларации Бальфура. Десять лет жизни в горах Иудеи прошли даром. Руки, протянутые для пожатия, были руками привычных земледельцев. Новоселы пропустили вперед пожилого, небритого человека. Он положил на стул брезентовую шляпу, обнажил полуседую голову.

— Цви Гордин,— сказал он,— прожил в Палестине двадцать два года.

Он повел нас по селу, показал хозяйство колхоза: конюшни, хлев, амбары, два трактора, плуги, бороны, жатки. Они тоже пострадали от наводнения. Нет, пока никто не огорчается. Все знают: жизнь впереди.

— Наоборот,— сказал Цви Гордин:— у нас большие надежды.

— Вы верите в Биробиджан? — спросил мистер Броун.

— Я вам скажу так,— ответил Гордин.— У нас было на земле две родины: одна там, в Палестине, другая — здесь. Одна родина уже кончилась, а другая... другую надо построить.

Мы разошлись по селу. Вильям Гаррис зажигал магний и снимал постройки, людей, детишек, скот. Броун и я заходили во все дома и, пока Броун разговаривал с каждым о радостях и нуждах Биробиджана, я неизменно спрашивал:

— Где вы жили в Палестине? Не знаете ли вы Александра Гордона?

— Нет, не знаем.

— У нас такого не было.

— Спросите Цви Гордина. Он знает Палестину, как свое местечко.

И оказалось, что Цви Гордин действительно знал Александра Гордона. Он знал не только его, но и Ровоама Висмонта. Цви Гордин был хорошо знаком с дочерью наборщика Лией. Нет, она до сих пор не вышла замуж. Очень приятные молодые люди, он часто встречал их в доме наборщика. Когда Цви Гордин приезжал в Иерусалим, он тоже там останавливался. Ровоам, тот был почти коммунистом. Цви не понимает,



почему он не приехал сюда. Неужели из-за той глупости?

— Какая глупость?

— Э,—отмахнулся Гордин,—он все хочет отдать Ротшильду какие-то триста фунтов, истраченные бароном на его воспитание. Сумасшедший, он себе во всем отказывает. Он живет в Каире, где работает на водопроводной станции.

Я узнал от Гордина, что Висмонт уже перевел в адрес Палестинского банка сто фунтов. Он всегда говорил, что хочет во что бы то ни стало рассчитаться с бароном.

— Детские забавы,—сказал Цви Гордин,—главное, тот Ротшильд уже умер... как будто барон будет знать.

— А Гордон? Он еще служит продавцом в киоске Розенблатта и Зильберберга?

— Нет, он давно покинул Тель-Авив.

Я узнал, что Гордон снова перебрался в Иерусалим и через год после смерти ребе Акивы женился на Малке. Ее дед тоже умер и передал незадолго до кончины свой кинематограф одному англичанину. Гордон служит в кинематографе кассиром, он совсем опустился, почти никуда не выходит и перестал делать свои миниатюры.

Мистер Броун прислушивался к нашему разговору.

— Я же говорил — сказал он.

— Между прочим,—продолжал Цви Гордин,—ваш друг знал, что я еду сюда. Он сказал, что завидует мне и что Палестина—это наша могила, а Биробиджан может стать нашей колыбелью. Я его просил: «Едем с нами». — «Нет,—жаловался он,—я уже никому не нужен: я — больной... Как-нибудь доживу здесь».

Цви Гордин угостил нас чаем. Он поставил тарелку с маслом.

— Ешьте,—сказал он:—это наше биробиджанское масло.

Он сделала для нас бутерброды с сыром.

— Ешьте,—сказал он:—это наш биробиджанский сыр. Жена, а мед?

Мы взяли из его рук блюдо с медом.



— Это наш биробиджанский мед.

Когда разговор снова зашел о Гордоне, Цви Гордин вздохнул.

— Э,— сказал он,— поговорим о вещах более веселых. Я так думаю, что ваш друг наплевал на все: и на сионизм, и на панарабизм, и на Англию, и на Францию, и на весь мир... Он ходит к себе в будку, потом домой и опять в будку, и снова домой, и ест свой хлеб с маслом, и огорчается, что у жены есть от него какие-то тайны.



